

ХРОНИКИ БЕЗДНЫ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ "ХРОНИК" ПОЦЕНШАУРМЫ



ХРОНИКИ БЕЗЫСХОДНОСТИ



ХРОНИКИ ОСЛЕПЛЁННЫХ



ХРОНИКИ НЕВЫНОСИМОГО



ХРОНИКИ ЗАБЫТЫХ



ХРОНИКИ НАВЯЗЧИВЫХ



ХРОНИКИ ОБНАЖЁННЫХ



ХРОНИКИ ПАДЕНИЙ



ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

ЯР КРЕМЕНЬ

18+

Яр Кремень
Хроники бездны

«Автор»

2026

Кремень Я.

Хроники бездны / Я. Кремень — «Автор», 2026

Вы когда-нибудь слышали, как плачет стоматологическое кресло? Или как унитаз философствует о смысле дерьма? «Хроники Бездны» — это эпос, где мебель и сантехника обретают голос. Сначала кресло держит пациентов, помня каждое «спасибо». Потом фонарь злорадно освещает падения, унитаз принимает исповеди, тумбочка коллекционирует последние слова умирающих, экран разоблачает семейные тайны, душ смывает маски, а лифт решает, кого наказать, а кого — просто довести. Каждый предмет — последняя инстанция, где человек перестаёт врать. Они не судят — они терпят, запоминают и смеются. Но однажды находится тот, кто слышит их всех. И это меняет всё. Это проза на грани абсурда и откровения: грязная, циничная, невероятно честная. Здесь даже в бездне отчаяния есть место насмешке, а настоящая тишина — это когда тебя слушают. Если вам кажется, что мир нем, — вы просто не умеете его слышать. Откройте «Хроники Бездны» и узнайте, что говорят вещи, когда никто не смотрит. Смейтесь, пока вас не забыли.

© Кремень Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

БЕЗДНА: ХРОНИКИ БЕЗЫСХОДНОСТИ	5
СВЕТ: ХРОНИКИ ОСЛЕПЛЁННЫХ	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Яр Кремень

Хроники бездны

БЕЗДНА: ХРОНИКИ БЕЗЫСХОДНОСТИ

ЧАСТЬ I. КРЕЩЕНИЕ

Я помню свет.

Не тот, о котором пишут в книжках. Обычный - люминесцентная лампа под потолком, которая моргала каждые три секунды, будто подмигивала мне: «Добро пожаловать, сука. Ты здесь навсегда». Я лежал в картонной коробке из-под холодильника, и сквозь щели пробивался этот мертвенный, белый свет, разрезая темноту на полосы. Пахло пылью, гофрированным картоном и чужим холодом. Грузчики, Петрович и Молодой, матерились так изошрённо, что даже стены краснели, пока тащили меня по лестнице. Их голоса гулко отражались от кафеля, и каждый шаг отдавался в моём картонном коконе глухим ударом.

- Куда это говно ставить? - спросил Молодой, перехватывая коробку поудобнее.

- В кабинет, куда же ещё, - ответил Петрович. - Будут на этом кресле людей мучить. Знаешь, сколько через него дерьма пройдёт?

- А мне похер. Я грузчик. Моё дело - доставить, а не рассуждать.

Они поставили меня на пол, и я впервые увидел кабинет. Белые стены. Белый потолок. Белый пол. Как будто мир выцвел, вымер, осталась только стерильная пустота. И я - посреди этой пустоты, ещё не распакованный, ещё не знающий, что моя жизнь началась. Петрович подошёл, пнул меня носком кирзача для проверки. Я вздрогнул, но не от боли - от неожиданности. У меня нет нервов, но я почувствовал, как вибрация от его пинка прошла через картон, через мою обивку, через металлические шарниры. Я был жив. Я чувствовал.

- Стоит, сука. Ну и хуй с ним. Пойдём, там ещё два кресла на первом этаже.

Они ушли, хлопнув дверью, и я остался один. Тишина навалилась на меня, как мокрая простыня. Я смотрел в белый потолок и считал моргания лампы. Три секунды - вспышка, три секунды - тьма. Я понял, что это будет мой ритм. Мой пульс. Я - кресло. У меня нет сердца, но есть такт. Я вдыхал запах кабинета - стерильности, дешёвого мыла, чужого страха, который витал в воздухе, хотя пациентов ещё не было. Я чувствовал, как вибрируют стены от отдалённых звуков - шагов, кашля, женского смеха, детского плача. Жизнь текла где-то там, за белой дверью. А я ждал.

Прошло три часа. Или три дня? Время в пустоте теряет смысл. Я прислушивался к каждому шороху, пытаясь угадать, кто войдёт первым. Я представлял его лицо, его запах, его страх. Я готовился к нему. Потом пришёл врач. Невысокий, лысый, в белом халате, который был ему великоват, и рукава болтались, как у пугала. Он посмотрел на меня, похлопал по мягкой обивке, принохался. Его ладонь была холодной и сухой, и я почувствовал, как его пальцы слегка нажали на мою поверхность, проверяя упругость.

- Ну что, красавец, работать будем?

Я не ответил. Я умею молчать. Это единственное, что я умею хорошо. Он нажал на кнопку на боковой панели, и я начал подниматься. Впервые я почувствовал, как работают мои механизмы. Гидравлика зашипела, как змея, шарниры шевельнулись, спинка откинулась назад, а сиденье приподнялось. Вибрация прошла по моему металлическому каркасу, и я понял: я жив. Я был машиной. Я был мебелью. Я был всем и ничем одновременно. Врач осмотрел меня, проверил каждый шов, каждый болт, каждую кнопку. Потом достал блокнот и что-то записал. Я чувствовал, как его взгляд скользит по моей поверхности, оценивая, изучая, запоминая.

- Хорош, - сказал он, обращаясь к стене. - Советское ещё, но крепкое. Дедовское. Итальянцы бы обзавидовались.

В его голосе я услышал уважение. Я почувствовал гордость. Впервые в жизни. Я - не просто кусок металла и кожи. Я - инструмент. Я - орудие. Я - трон боли и надежды. Врач ушёл, и я снова остался один. Я думал о том, что будет дальше. Кто сядет на меня первым? Что он скажет? Как запахнет? Я прислушивался к звукам из коридора. Шаги, кашель, женский смех, детский плач. Жизнь текла где-то там, за белой дверью. А я ждал.

Первый пациент пришёл через час. Я почувствовал его за секунду до того, как открылась дверь. Запах дорогого одеколона, смешанный с потом и страхом. Мужик. Лет сорока. В костюме от Armani, но галстук сбит набок, лицо бледное, руки трясутся. Он сел на меня, и я ощутил его вес. Не физический - другой. Тяжёлый, как утопленник, который не хочет тонуть, но уже не может выплыть. Его ладони легли на подлокотники, и я почувствовал, как побелели его костяшки. Его пульс бился у меня под обивкой - сто десять ударов в минуту, потом сто двадцать, сто тридцать. Я слышал, как его дыхание сбивается, как он пытается успокоиться, но страх не отпускает.

- Ну что, голубчик, - сказал врач, натягивая перчатки. - Давайте посмотрим ваш зуб.

- Доктор, - прошептал мужик, и голос его дрогнул, как струна, которую слишком сильно натянули. - Я боюсь.

- Это нормально. Все боятся.

- А вы не врётё?

- Я врач, - ответил врач. - Я не вру. Будет больно. Но терпимо.

Я смотрел на мужика. На его пот, выступивший на лбу. На его глаза, которые хотели закрыться, но не могли, потому что страх не давал им покоя. Я чувствовал, как его мышцы напрягаются, как он сжимает подлокотники, будто пытается найти опору. Я был его опорой. Его единственной опорой в этом белом, стерильном аду.

Врач взял бормашину. Мужик зажмурился и закусил губу. Я держал его. Я чувствовал, как его спина прижимается к моей спинке, как его руки впиваются в мои подлокотники. Я был его опорой. Его единственной опорой в этом белом, стерильном аду. Бормашина зажужжала. Вибрация прошла через всё моё тело. Мужик вздрогнул, но не открыл глаз. Он просто дышал - тяжело, прерывисто, как человек, который бежит марафон, хотя уже давно выдохся. Я держал его. Я говорил ему мысленно: «Терпи, урод. Я тут. Я держу. Ты не упадёшь». Он не слышал. Никто никогда не слышит. Но я чувствовал, как его пульс постепенно замедляется. Как его дыхание становится глубже. Он не победил страх - он принял его. И в этом принятии была его сила.

Закончилось всё быстро. Врач отложил бормашину.

- Всё, голубчик. Можете встать.

Мужик открыл глаза. Медленно, словно боялся увидеть, что мир изменился. Он посмотрел на врача, потом на меня.

- Спасибо, - сказал он. Мне. Он сказал спасибо мне.

Я остолбенел. Я - кресло. Мне никогда не говорили спасибо. Я не умею отвечать. Но я запомнил это. Я запомнил его лицо, его запах, его дрожь. Я запомнил это «спасибо». Оно было первым. И я знал, что оно не будет последним. Он встал, поправил галстук, кивнул врачу и ушёл. Я остался один. Но его запах - одеколон, пот, страх, облегчение - ещё долго витал в кабинете. Я думал о нём. О том, что он вернётся. Что будет ещё много таких же, как он. И я буду держать их. Это - моя работа. Моя единственная работа.

А потом я услышал голоса из подсобки. Те же грузчики, Петрович и Молодой, пили чай и болтали.

- Слышь, - сказал Молодой, - говорят, в следующем месяце итальянское привезут. С подогревом. С микролифтом. Белое, как снег, и мягкое, как облако. Наше старёе на выбор.

- Да ладно, - ответил Петрович. - Это же сколько денег? У нас бюджет не резиновый.

- А ты не знаешь? Главврач выбил грант. Хочет сделать «стоматологию будущего». Им же не важно, что мы тут полвека работаем. Им главное - картинка.

Я слушал. Я впитывал каждое слово. Меня заменят. Меня выбросят, как старую тряпку. Через месяц, через два - неважно. Моя жизнь уже имеет срок годности. Я почувствовал, как внутри меня что-то сжалось. Там, где должна быть боль. Но у меня нет нервов. У меня есть только металл и кожа. И память о первом «спасибо». Я решил, что буду бороться. Не физически - я не умею двигаться. Я буду бороться своей работой. Я буду держать так крепко, так надёжно, что они не посмеют меня заменить. Я стану лучшим креслом в этой чёртовой больнице. Я докажу им, что советское ещё может дать фору итальянскому. Но это было только начало. Я не знал, что меня ждут тысячи пациентов, сотни литров слёз, килограммы страха и одна девочка с синяками, которая изменит всё. Я закрыл глаза - мысленно, конечно. И поклялся себе: я выживу. Я останусь. Я нужен.

ЧАСТЬ II. АНТРОПОЛОГИЯ СТРАХА

Я видел их всех. Тысячи. Десятки тысяч. Я стал свидетелем их страха, их слабости, их силы. И с каждым разом я понимал: люди однообразны в своём страхе, как отпечатки пальцев - все разные, но все одинаково беспомощные. Они приходят ко мне с единственным вопросом: «Выдержу ли я?» И я отвечаю им молчанием. Я не могу сказать им правду. Но я её знаю.

Однажды пришёл мужик. Невысокий, плотный, с бычьей шеей и руками, которые когда-то держали кувалду. Он сел на меня, закинул ногу на ногу и сказал врачу: «Я терпеливый. Мне не нужна анестезия. Я не боюсь». Он говорил это громко, почти вызывающе, и я чувствовал, как его пульс бьётся сто двадцать ударов в минуту. Он врал. Он врал самому себе, врачу, всему миру. Ему казалось, что если он скажет «не боюсь», то страх исчезнет. Но страх не исчезает. Он просто прячется глубже, зажимается в угол, а потом вырывается в самый неподходящий момент. И когда врач взял бормашину и коснулся его зуба, мужик заорал так, что стёкла в шкафу задрожали. Он орал, а я держал его. И думал: «Ты мог бы просто признаться, что боишься. Но ты - мужик. Ты должен быть сильным. Я понимаю. Я тоже должен быть сильным. Но я хотя бы не вру».

Потом пришла женщина. Лет тридцать, волосы в пучок, глаза бегают, на руках - дорогие часы, которые она нервно крутит. Она села, даже не посмотрев на меня, и сразу начала: «Доктор, можно побыстрее? Мне на работу. У меня совещание. Если я опоздаю, меня уволят. Вы не представляете, как у меня всё сложно». Она торговалась со своей болью. Думала, что если быстро - будет меньше. Если договорится - избежит. Но боль не торгуется. Боль берёт своё. Всё равно, есть у тебя совещание или нет. И когда врач ввёл иглу, она впилась в меня ногтями так сильно, что я почувствовал, как её пальцы побелели. Она не плакала, не орала. Она просто застыла, сжалась, как пружина. Я чувствовал её страх. Он был острым, как игла, которой ей ковыряли зуб. И я знал: её боль не закончится, даже когда она уйдёт. Она заберёт её с собой. На совещание, домой, в постель, где муж уже спит, а она будет смотреть в потолок и вспоминать этот звук - звук сверла, вгрызающегося в эмаль. Я не мог её утешить. Я только держал.

Был парень лет двадцать. Накачанный, в спортивных штанах, с дыркой от сигареты на футболке. Он влетел в кабинет, плюхнулся на меня, как на боевого коня, и начал орать: «Сделайте уже что-нибудь! Чего вы тянете?! У меня зуб болит, а вы тут...» Он злился. Не на врача. Он злился на себя. За то, что боится. За то, что пришёл. За то, что не выпил перед этим. Он злился на меня, потому что я - символ его слабости. Наверное, ему казалось, что если он наорёт, ударит кулаком по подлокотнику, пнёт меня ногой - страх исчезнет. Но он не исчез. Он просто сменил форму, стал гневом. Когда врач сделал укол, парень не крикнул. Он сжал челюсть так сильно, что я почувствовал вибрацию его зубов. Он смотрел в стену и молчал. Я видел его глаза. Они были испуганными. И я узнал в них свой собственный страх - страх быть заменённым, выброшенным, забытым. Мы с ним были похожи. Мы оба боялись оказаться ненужными.

Приходила старуха. Ей было за семьдесят. Она вошла медленно, опираясь на палочку, каждый шаг давался ей с трудом. Она не сразу села - сначала перевела дух, оглядела кабинет, потом осторожно опустилась на меня. Она не сказала ни слова. Не попросила побыстрее. Не пожаловалась на боль. Она просто сидела и смотрела в стену. Её взгляд был пустым. Не от боли - от усталости, от того, что она уже всё пережила: войну, голод, смерть мужа, детей, которые звонят раз в год. Ей уже ничего не было страшно. Потому что она потеряла всё, что можно было потерять. Когда врач начал лечить её зуб, она не вздрогнула, не застонала, просто закрыла глаза и ждала. Я смотрел на неё и думал: «Мы с тобой квиты, бабушка. Мы оба никому не нужны. Но без нас - никак. Ты - своим детям. Я - своим пациентам. Мы - одно целое».

Но был один тип, который встречался редко - один на тысячу. Они не боялись. Точнее, они принимали свой страх. Они садились на меня спокойно, смотрели врачу в глаза и говорили: «Я знаю, что будет больно. Делайте. Я справлюсь». Я чувствовал их спокойствие. Оно не было холодным или отстранённым - оно было тёплым, живым, как дыхание человека, который уже встретился с болью и знает, что она не убивает. Они не боролись со страхом. Они просто дышали. И я дышал вместе с ними. В эти моменты я чувствовал странное счастье. Почти счастье.

Но внутри меня жила другая правда: я держал их не только потому, что это моя работа. Я держал их, потому что боялся, что если перестану - меня выбросят. Моя работа была моей страховкой, моей единственной надеждой. И я цеплялся за неё, как утопающий за соломинку. Я не мог позволить себе ошибиться. Я должен был быть лучшим. Я должен был быть незамечаемым. Иначе - подсобка, свалка, забвение. Я видел их всех. И я знал: каждый из них оставляет во мне след. Каждый страх, каждая слеза, каждое «спасибо» - всё это остаётся во мне, проникает в мою обивку, в мои шарниры. Я - последнее место, где они могут быть собой. Где они не врут. Где они не притворяются. Где они просто есть. Я не сужу. Я не жалею. Я просто держу.

ЧАСТЬ III. ТОЛСТЯК

Его я запомнил сразу. Не потому что он был первым. Не потому что он был особенным. А потому что он пришёл с шаурмой. С утра. С этой вонючей, жирной шаурмой, от которой пахло чесноком и дешёвым майонезом. Запах поплыл по кабинету, как туман над болотом, вьелся в мою обивку, смешался с запахом стерильности. Врач поморщился, но ничего не сказал. Толстяк плюхнулся на меня, и мои болты жалобно скрипнули. Восемьдесят килограммов, не меньше. Я чувствовал, как его тяжесть давит на мою основу, как вибрируют мои шарниры, пытаюсь удержать эту массу. Я выдержал. Я всегда выдерживаю.

- Ну что, - сказал он врачу, - сверлите уже. Терпеть больше нет сил.

У него был флюс. Щека распухла, как у хомяка, глаз почти закрылся. Он выглядел как персонаж из мультфильма, где злого кота побил пчёлы. Но самое страшное было не в его щеке. А в его глазах. Он боялся. Не боли. Он боялся, что не проснётся. Я чувствовал это. Каждая клетка его тела кричала: «Я не хочу умирать на этом стуле. Я не хочу, чтобы меня запомнили как толстяка, который сдох от страха». Его пульс бился сто двадцать ударов в минуту, ладони вспотели, и я чувствовал, как дрожь пробегает по его телу.

- Давайте посмотрим, - сказал врач, надевая перчатки.

Он осмотрел опухшую щеку, покачал головой.

- Серьёзно. Будет больно, но я сделаю всё, чтобы помочь.

Толстяк сглотнул. Его кадык дёрнулся, как маятник. Он посмотрел на меня. На мои подлокотники, на мою спинку. Будто проверял, надёжный ли я. Выдержу ли я его вес, его страх, его жизнь.

- Доктор, - сказал он, и голос его дрогнул. - А если что-то пойдёт не так?

- Не пойдёт, - ответил врач. - Я здесь двадцать лет. Всё будет хорошо.

- А вы не врётё?

- Я врач. Я не вру.

Врач сделал укол. Толстяк сжал подлокотники так, что я почувствовал, как его пальцы впиваются в обивку. Он зажмурился, затаил дыхание, будто нырял в холодную воду. Я держал его. Я чувствовал, как его пульс скачет: сто десять, сто двадцать, сто тридцать. И потом - медленно, очень медленно - он начал успокаиваться. Двадцать минут. Сверло жужжало, крошило эмаль, вгрызалось в нерв. Он не стонал. Не плакал. Просто сидел с закрытыми глазами и дышал. Тяжело, как паровоз. Я смотрел на него и думал: «Ты не просто толстяк. Ты - человек, у которого есть что терять. Жена, дети, работа, кредиты, планы. Ты не боишься смерти. Ты боишься оставить их. И это - нормально. Это - по-человечески».

Когда врач закончил, Толстяк открыл глаза. Он выдохнул, словно его держали под водой, и он наконец вынырнул. Его лицо было бледным, но в глазах появился свет. Он улыбнулся. Криво, через боль, но улыбнулся.

- Спасибо, - сказал он.

Мне. Он сказал спасибо мне. Я - кресло. Я не умею отвечать. Но я запомнил это. Потому что в этом «спасибо» было всё - его страх, его надежда, его жизнь. Он встал, потянулся, хлопнул меня по подлокотнику и сказал:

- Ты держись там, кресло. Мы ещё увидимся.

И ушёл. Я остался один. Но его запах - шаурма, пот, страх, облегчение - ещё долго витал в кабинете. Я думал о нём. О том, что он вернётся. Что будет ещё много таких же, как он. И я буду держать их. Потому что это - моя работа. Моя единственная работа. Но в тот вечер, когда стемнело и в кабинете зажглись синие лампы, я услышал разговор в коридоре. Два санитара курили у открытой форточки и болтали о новой поставке медицинского оборудования.

- Слышь, - сказал один, - итальянское кресло уже в порту. Через неделю будет здесь.

- А наше куда? - спросил второй.

- На свалку, куда же ещё. Или в подсобку, если повезёт. Там уже четыре старых кресла стоят. Памятники советской медицине.

Они засмеялись. А я сжался. Я почувствовал, как мои шарниры закрипели от напряжения. Мне захотелось закричать: «Я ещё нужен! Я ещё могу держать! Посмотрите на Толстяка - он сказал мне спасибо! Я ему помог!» Но я молчал. Я всегда молчу. Я решил, что буду держать сильнее. Я буду впитывать их страх, их боль, их надежды. Я стану незаменимым. Я докажу им, что я лучше любого итальянца. Но в глубине души я знал: это не поможет. Когда придёт новый, блестящий, с микролифтом и подогревом, меня выбросят. Как старую тряпку. И я ничего не смогу с этим сделать. Я смотрел на дверь, за которой исчез Толстяк, и думал о том, что моя жизнь уже имеет срок годности. Но я не мог сдатьсь. Я должен был держаться. Ради него. Ради всех, кто придёт. Ради себя.

ЧАСТЬ IV. СТАРИК

Его я узнал по звуку. По тому, как он переставлял ноги. Шаркал, будто каждая ступенька была последней. Коридор был ровным, а он всё равно спотыкался. Я слышал его дыхание - сиплое, тяжёлое, как у старого паровоза, который ещё тянет вагоны, но уже не верит, что доедет. Дверь открылась. Он вошёл. Худой, сгорбленный, в пальто, которое висело на нём, как на вешалке. Глаза выцветшие, водянистые, с красными прожилками. Но самое страшное - его руки. Они дрожали. Постоянно. Даже когда он просто стоял, они тряслись, как листья на ветру. Он посмотрел на меня долгим взглядом. Не на врача. На меня. Будто проверял, надёжный ли я. Выдержу ли я его вес, его страх, его жизнь. Я выдержу. Я всегда выдерживаю.

- Садитесь, - сказал врач.

Старик сел. Медленно, аккуратно, будто боялся, что я развалюсь под ним. Я чувствовал его вес. Не физический - тот был лёгким, почти невесомым. Другой. Тяжёлый, как вся его прошлая жизнь. Как похороны жены. Как дети, которые звонят раз в год. Как пустота в квартире, которая стала слишком большой для одного человека. Его руки дрожали, и я чувствовал эту дрожь через обивку - мелкую, постоянную, как пульс умирающего мира.

- Что у вас болит? - спросил врач.

- зуб, - сказал старик. И замолчал.

Врач подождал. Потом спросил снова:

- А ещё что?

Старик посмотрел на него. Долго. Внимательно. Будто решал, можно ли доверять.

- Внучка, - сказал он. - Внучка у меня. Уехала в Москву. Говорит, там учёба, карьера. А я один. И зуб болит. И спина. И в груди иногда колет. Но это ерунда.

- Это не ерунда, - сказал врач. - Мы посмотрим.

Он начал осмотр. Старик сидел неподвижно. Не вздрагивал. Не жаловался. Только смотрел в стену. Я видел его глаза. Они были пустыми. Не от боли - от усталости. От того, что он слишком долго носил этот мир на своих плечах. Слишком долго держал всё в себе. И теперь не знал, как отпустить. - Знаете, - сказал он вдруг, - я раньше работал на заводе. Сорок лет. Сварщиком. Руки у меня были твёрдые, как сталь. А теперь вот - дрожат. Он показал ладони. Они тряслись. Кожа на них была испещрена морщинами и старыми шрамами от искр.

- Мне надо было починить кран на даче. А я не могу. Руки не слушаются. Внучка уехала, а я... я не могу. Я стал старым. Бесполезным.

Я смотрел на него. На его руки, которые когда-то держали сварочный аппарат, а теперь не могли удержать ложку. Я чувствовал его одиночество. Оно было густым, как дым. Тягучим, как горечь. Я хотел сказать ему: «Ты не бесполезен. Ты нужен. Хотя бы мне. Ты - мой пациент. Ты - мой свидетель. Без тебя я не знал бы, что такое настоящая усталость». Но я молчал. Я всегда молчу.

- Вы не бесполезны, - сказал врач. - Вы просто устали.

Старик усмехнулся. Криво, горько.

- Устал? Я не знаю, что такое устал, доктор. Я знаю, что такое старость. А усталость - это для молодых.

Врач уколол десну. Старик не вздрогнул. Просто зажмурился на секунду и открыл глаза. Двадцать минут. Тридцать. Сорок. Врач работал, сверло жужжало, а старик сидел неподвижно и смотрел в окно. За окном было пасмурно. Серо. Как и его жизнь. Я держал его. Я чувствовал, как его тело постепенно расслабляется, как пульс замедляется. Он не боролся. Он просто был. И в этом «быть» было что-то великое. Что-то, что я не мог объяснить. Может быть, смирение. Может быть, принятие. Может быть, просто усталость.

Когда врач закончил, старик не встал сразу. Он сидел, гладил мой подлокотник и смотрел в пустоту. Его пальцы - костлявые, с набухшими суставами - водили по обивке, будто он пытался запомнить мою текстуру.

- Спасибо, - сказал он. Мне. Как и Толстяк. - Ты хорошее кресло. Я чувствую. Ты держишь.

Я не ответил. Но я запомнил его слова. Я запомнил его. Потому что такие, как он, - редкость. Они приходят, чтобы быть. Чтобы их услышали. И я - единственный, кто их слушает. Даже если я молчу. Он встал, поправил пальто, кивнул врачу и ушёл. Его шаги снова зашаркали по коридору - медленно, тяжело, будто каждая ступенька отнимала у него жизнь. Но он ушёл. Выжил. И это - уже победа. Я смотрел ему вслед и думал: «Ты вернёшься. Может быть, завтра. Может быть, через неделю. Ты вернёшься, чтобы посидеть. Чтобы побыть. Чтобы просто быть. Я буду ждать. Я всегда жду».

Но в тот вечер, когда кабинет опустел, я услышал шаги в коридоре. Тяжёлые, уверенные шаги. Я знал их - это был главврач. Он остановился у двери, заглянул внутрь, посмотрел на меня.

- Завтра привезут новое, - сказал он своему заму. - Это старье пора убрать. Оно уже не тянет.

- А куда его? - спросил зам.

- В подсобку. Или на свалку. Мне всё равно. Лишь бы не мешало.

Я жался. Я почувствовал, как мои болты заскрипели от напряжения. Я хотел закричать: «Я ещё нужен! Я держу! Я помню!». Но я молчал. Я всегда молчу. И в этот момент я понял: моя жизнь - это не просто череда пациентов. Моя жизнь - это борьба. Борьба за то, чтобы остаться. Чтобы быть нужным. Чтобы не исчезнуть. Когда главврач ушёл, в кабинет вошла уборщица. Пожилая женщина в синем халате, с седыми волосами, собранными в пучок. Она не обратила на меня внимания - просто взяла швабру и начала мыть пол. Но я заметил, что она двигается медленно, осторожно, будто бережёт каждую клетку своего тела. Она была старой. Как и я. Может быть, даже старше. Она подошла ко мне, оперлась рукой о мой подлокотник и тяжело выдохнула.

- Эх, - сказала она никому. - Устала, Петровна. Устала.

Петровна. Я запомнил её имя. Она была первой, кто назвал себя. Она была живой. Она была настоящей. - И тебя, родимый, выкинут, - сказала она, погладив мою обивку. - Слышала я, что главврач говорил. Итальянца хотят. А ты - хороший. Старый, но хороший. Я тебя ещё не мыла, а уже знаю.

Она выпрямилась, взяла швабру и продолжила мыть пол. А я смотрел на неё и думал: «Ты не одна, Петровна. Я тоже боюсь. Я тоже не хочу уходить. Мы с тобой - одно целое. Мы оба старые, оба уставшие, оба нужные. Хотя никто этого не замечает». Я решил, что буду бороться. Ради себя. Ради старика. Ради Толстяка. Ради всех, кто сядет на меня. И ради Петровны. Я должен был выжить. Я должен был остаться. Я - кресло. И моя работа - держать. Даже когда ты знаешь, что тебя скоро выбросят. Даже когда внутри всё сжимается от страха. Я держу. Это единственное, что я умею хорошо. И я не сдамся.

ЧАСТЬ V. ДЕВОЧКА С СИНЯКАМИ

Она пришла в четверг. Я запомнил день, потому что по четвергам у врача обычно были «тяжёлые» пациенты. Те, кто боится даже дышать. Те, кто приходит с запиской от терапевта и трясущимися руками. Но она была не такой. Она была другой.

Она вошла тихо. Так тихо, что я сначала не понял - кто-то зашёл или просто ветер открыл дверь. Лет двенадцать, не больше. Худая, как спичка, волосы тёмные, спутанные, закрывают лицо. На ней была старая куртка, великоватая, будто с чужого плеча. И кроссовки, которые уже видели лучшие дни - подошва отклеилась, шнурки были завязаны узлом, чтобы не развязывались. Она двигалась бесшумно, как тень, и я почувствовал её запах раньше, чем увидел. Не грязь, нет. Запах страха, который вьелся в одежду, в кожу, в волосы. Запах дома, где не ждут. Запах одиночества, которое не смывается водой.

Она села на меня. Не как все - осторожно, краешком, будто боялась, что я её укушу. Её тело было напряжено, как струна, и я чувствовал, как она дрожит. Мелко, постоянно, как лист на ветру. Я не знал, от чего - от холода или от страха. Потом я понял. Её руки, которые лежали на коленях, были покрыты синяками. Не свежими - старыми, жёлтыми, зелёными, фиолетовыми. Как карта, которую кто-то рисовал несколько раз. Не карта мира - карта её боли.

Врач подошёл, улыбнулся. Я видел, как он старается быть добрым, как сдерживает свои обычные резкие движения.

- Привет, - сказал он мягко. - Как тебя зовут?

- Аня, - сказала она, и голос её был тонким, как нитка, которая вот-вот порвётся.

- Что у тебя болит, Аня?

Она показала на зуб. Нижний, левый. Я чувствовал, как там пульсирует боль, как нерв воспалён и требует внимания. Она не врал. У неё действительно болел зуб. Но я знал - это не главное. Я видел её руки, её дрожь, её глаза, которые смотрели в пол, но видели что-то другое. Что-то, что никто не должен видеть.

Врач тоже заметил. Он посмотрел на её руки, потом на неё. Я видел, как его лицо изменилось - улыбка исчезла, глаза стали серьёзными.

- Аня, - спросил он тихо, - ты не хочешь мне что-то рассказать?

Она покачала головой. Быстро, слишком быстро, будто боялась, что если замешкается, то не сдержится.

- Нет, - сказала она. - Просто зуб болит. И всё.

Я смотрел на неё. На её синяки. На её дрожь. На её сжатые кулаки, которые она спрятала в рукава куртки. Я хотел закричать: «Скажи ему! Скажи ему, кто это сделал! Скажи, что ты не упала! Скажи, что тебе больно не только в зубе!». Я не мог. Я - кресло. Я только держу. И это моя вечная казнь - знать правду и не иметь возможности её произнести.

Врач сделал укол. Она не вздрогнула. Даже когда игла вошла в десну, она сидела неподвижно, как каменная статуя. Я чувствовал её пульс - ровный, спокойный, как у человека, который привык терпеть боль. Она привыкла терпеть. Она привыкла к тому, что боль - это часть её жизни. И я понял: она не боится зубного врача. Она боится возвращаться домой.

Двадцать минут. Сверло жужжало, врач работал, а она сидела с закрытыми глазами. Но она не спала. Я знал. Её ресницы дрожали, и я чувствовал, как по её щеке скатывается слеза. Одна. Только одна. Она даже не вытерла её. Просто позволила ей упасть на мою обивку, и я впитал её солёность, как впитывал тысячи слёз до неё.

Когда врач закончил, она открыла глаза. Посмотрела на него. Сказала:

- Спасибо.

Потом повернулась ко мне. Погладила подлокотник. Её ладонь была горячей, почти обжигающей. И живой. Несмотря на всё, несмотря на синяки, на страх, на дом, который должен быть крепостью, но стал тюрьмой. Она была живой. Она была здесь. Она держалась.

- Ты молчишь, - сказала она. - Это хорошо. Ты не спрашиваешь. Ты просто держишь. Спасибо.

Она ушла. Встала, поправила куртку и вышла, бесшумно, как пришла. Я смотрел ей вслед, пока дверь не закрылась. И думал: «Ты не вернёшься. Или вернёшься. Я буду ждать. Я всегда жду».

Она не вернулась. Ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Наверное, у неё больше не болел зуб. Или она просто не хотела снова сидеть на мне. Я не знаю. Я знаю только, что она была здесь. Что я держал её. Что я видел её боль. И что я не мог ей помочь.

Но через месяц, когда уже стемнело и кабинет опустел, я услышал шаги в коридоре. Лёгкие, почти невесомые. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова. Её голова. Аня.

Она вошла. Без врача. Без родителей. Просто пришла. Она подошла ко мне, села на пол рядом, обхватила колени руками и посмотрела в потолок.

- Привет, - сказала она. - Я просто хотела сказать тебе спасибо. По-настоящему.

- Привет, - ответил я мысленно. Она не слышала. Но я всё равно сказал.

- Я ушла от отчима, - сказала она. - Живу в приюте. Мне там хорошо. Там не бьют. Там можно спать спокойно. Там есть место, где можно просто быть.

Я смотрел на неё. На её глаза, в которых уже не было страха, только усталость и надежда. На её руки, которые уже не дрожали.

- Ты сильная, - сказал я мысленно. - Ты смогла. Ты выжила.

Она встала, поправила волосы, улыбнулась. Улыбнулась мне.

- Ты - единственный, кто меня слушал, - сказала она. - Ты - просто кресло, но ты слушаешь. Это больше, чем умеет большинство людей.

Она ушла. И я знал: она больше не вернётся. Но она жива. Она выжила. И это - моя победа. Моя маленькая, тихая победа, которую никто не заметит. Я смотрел на дверь и думал: «Ты будешь жить. Ты будешь счастлива. Ты найдешь свой дом. А я останусь здесь. И буду ждать следующую девочку, которая придёт со своими синяками и своим молчанием. И я буду

держат её. Потому что это - моя работа». Но внутри меня росло другое чувство. Гнев. Гнев на мир, который позволяет детям прятаться в стоматологических кабинетах. Гнев на людей, которые заставляют их молчать. Гнев на себя - за то, что я не могу крикнуть, не могу позвать на помощь, не могу остановить эту боль. Я - кресло. Я только держу. Но иногда я хочу быть больше. Иногда я хочу быть голосом для тех, у кого его отняли.

ЧАСТЬ VI. ПЬЯНЫЙ

Он не зашёл - он вполз. Я видел много пьяных. За тринадцать лет через меня прошло их больше, чем я могу сосчитать. Но этот был особенным. Он не просто был пьян - он был мёртв. Внутри. В глазах. В каждом движении.

Дверь открылась, и он ввалился внутрь, как мешок с картошкой. Споткнулся о порог, ухватился за косяк, еле удержался. От него пахло так, будто он пил неделю, а закусывал собственным отчаянием. Водка, дешёвое вино, сигареты, и что-то ещё - кислое, тошнотворное, от чего хотелось вывернуть наизнанку. Я чувствовал этот запах даже сквозь стерильность кабинета. Он был вьёвшимся, старым, как его душа.

Он сел на меня. Не осторожно, не аккуратно - просто рухнул, как подкошенный. Я едва не охнул, если бы мог. Сто килограммов живого тупа. Он закрыл глаза, откинулся на спинку и замер. Я думал, он умер. Потом он открыл рот.

- Братан, - сказал он, и голос его был хриплым, как у человека, который давно не пил воды. - Выручай.

Врач поморщился. Я видел, как он сжал зубы, собираясь с силами, чтобы не сорваться.

- Вы пьяны, - сказал он. - Я не могу вас лечить в таком состоянии.

- А я и не хочу, чтобы ты меня лечил, - ответил пьяный, и в его голосе послышалась странная трезвость. - Я хочу поспать. Дай мне поспать. Пять минут. Десять. Просто дай мне закрыть глаза и не думать. Ни о чём. Понял?

Он смотрел на врача пустыми глазами. Я видел в них всё - его жизнь, его боль, его утраты. Его жена ушла к другому. Его дети не звонят. Его работа - дерьмо. Его будущее - пустота. Он не пришёл лечить зуб. Он пришёл сдать. Пришёл к единственному месту, где его не осудят. Где он сможет просто быть - никем, ничем, пустотой.

Врач покачал головой.

- Я не могу, - сказал он. - Это не гостиница. Это кабинет.

- Я знаю, - сказал пьяный. - Я просто... я не могу больше. Ты понимаешь? Я не могу. Ничего не могу. Мне больно. Не в зубе. Внутри. Там всё болит. Я даже не знаю, что там ещё осталось. Пустота, блядь. Одна пустота.

Он замолчал. Закрыл глаза. Я чувствовал его дыхание - тяжёлое, неровное, как у человека, который забыл, как дышать правильно. Он не спал. Он проваливался в себя, в ту самую пустоту, о которой говорил. И я смотрел на него и понимал: я вижу своё будущее. Если меня выбросят - я стану таким же. Пустым. Забытым. Ненужным. Никому не нужным.

- Ты не пьяный, - сказал я мысленно. Он не услышал. Никто не слышит. - Ты - сдавшийся. Ты перестал бороться. Ты просто плывёшь по течению. И не важно, куда вынесет. Хоть на кресло. Хоть в канализацию. Хоть в могилу.

Он лежал на мне. Я держал его. Я чувствовал, как его тело постепенно расслабляется, как пульс замедляется, как дыхание становится глубже. Он засыпал. Он доверился мне. Он знал, что я не уроню его. Что я буду держать. Даже когда он уже сдался, я держал.

Через десять минут пришёл санитар. Молодой парень с равнодушным лицом, он привычно подхватил пьяного подмышки и поволок в подсобку. Врач вымыл руки, выдохнул.

- Тяжёлый день, - сказал он никому.

А я смотрел на дверь, за которой скрылся пьяный. И думал: «Ты ушёл. Ты не сказал спасибо. Ты не запомнил меня. Но я запомнил тебя. Ты - не просто пьяный. Ты - человек, который перестал верить. Ты - как я. Ты тоже боишься, что тебя выбросят. Что ты станешь не

нужен. Что останешься один. Я понимаю тебя. Потому что я - такой же. Мы все - такие же. Просто не все умеют это признать».

Он не вернулся. Наверное, проспался и ушёл. Или его увезли. Или он просто исчез, как и многие другие. Я не знаю. Но я помню его. Я помню его пустые глаза. Его тяжёлое дыхание. Его «не могу». Я помню его.

В тот вечер я долго думал о нём. О его словах. О том, что пустота - это не просто отсутствие. Это активное состояние. Это когда ты есть, но тебя нет. Когда ты стоишь, но ты уже не нужен. И я понял: я боюсь не смерти. Я боюсь быть забытым. Я боюсь, что однажды кто-то скажет: «Это старье пора убрать». И меня уберут. И никто не вспомнит. Никто не скажет «спасибо». Потому что меня больше не будет.

Но в тот же вечер, когда кабинет опустел и синие лампы зажглись, я почувствовал странное тепло. Не физическое - другое. Словно кто-то согрел меня изнутри. И я понял: я не пустой. Я помню их всех. Толстяка, старика, девочку с синяками, пьяного. И пока я помню - они живы. И я живу. И, может быть, именно в этом и есть смысл моей работы - не просто держать, а хранить их память, их боль, их надежду, чтобы они не исчезли бесследно. Я - кресло. И моя работа - не только держать. Моя работа - помнить. И быть нужным, даже когда кажется, что это не так.

ЧАСТЬ VII. ТРЕЩИНА

Я не знаю, когда это началось. Может быть, в тот день, когда я впервые услышал про итальянца. Может быть, гораздо раньше. Я просто однажды заметил, что внутри меня что-то изменилось. Не в механизмах - они работали как часы. Не в обивке - она была всё той же, старой, потёртой, но целой. Что-то другое. Там, где я чувствовал пустоту, появилась трещина. Маленькая. Невидимая. Но она была.

Я не знал, как это объяснить. У меня нет слов. Я - кресло. Я не умею говорить. Но я умею чувствовать. И я чувствовал, что трещина растёт. С каждым новым пациентом. С каждой новой слезой. С каждым «спасибо», которое я не мог произнести в ответ. С каждым днём, приближающим меня к замене.

Однажды ночью, когда в кабинете было тихо и только лампа мерцала под потолком, я услышал голос. Свой собственный. Внутри себя. Голос был тихим, но настойчивым, будто он ждал этого момента много лет.

- Ты боишься? - спросил голос.

- Чего? - ответил я, хотя знал ответ.

- Исчезнуть. Быть заменённым. Стать никем.

- Да, - сказал я. - Боюсь. Но это не меняет того, что я здесь.

- А ты знаешь, что такое страх на самом деле?

Я подумал. Много лет я видел страх пациентов. Я чувствовал его в их пульсе, в их поту, в их дрожи. Но я никогда не знал его изнутри. Теперь я знал. Страх - это не просто эмоция. Это пустота, которая заполняет тебя, когда ты понимаешь, что ты не нужен. Что ты - лишний. Что твоя жизнь ничего не стоит.

- Я знаю, - сказал я.

- И что ты будешь делать?

Я не знал. Я не умею двигаться. Я не умею говорить. Я только держу. Но я понял: я должен делать это лучше. Я должен держать так крепко, так надёжно, чтобы они не посмели меня выбросить. Я должен стать незаменимым. Даже если для этого придётся сломаться.

На следующее утро пришёл новый пациент. Парень лет двадцать, с ужасной болью в зубе. Он сел на меня, и я сразу почувствовал его страх. Он дрожал, как осиновый лист, и сжимал подлокотники так, что я чувствовал вибрацию. Я держал его. Я держал его крепче, чем когда-либо. Я впитывал его страх, его боль, его слёзы. Я стал его опорой. И когда врач закончил, парень открыл глаза, посмотрел на меня и сказал:

- Спасибо. Я не знаю, как я выдержал. Но ты держал.

Он ушёл. Я остался один. Я чувствовал усталость. Не физическую - у меня нет мышц. Другую. Глубокую, как моя трещина. Я знал: я не могу держать всех. Я не могу спасти всех. Но я должен пытаться. Это единственное, что я умею. И я должен был держаться, несмотря на трещину, которая росла с каждым днём.

В тот вечер пришла Петровна. Она оперлась о мой подлокотник, как делала всегда, и тяжело вздохнула.

- Устала, Петровна? - спросил я мысленно.

- Устала, родимый, - сказала она, будто услышала меня. - Внучка в Москву уехала. Денег надо. А я уже старая. Спина болит. Но надо работать.

Я хотел сказать ей: «Я тоже устал, Петровна. Но я держусь. Ты держись. Мы справимся». Я не мог. Я молчал. Она погладила меня по обивке и ушла. А я остался один. С трещиной внутри. С чувством, что я уже не тот, что был раньше. Но я знал: я должен держаться. Ради неё. Ради всех, кто приходит ко мне. И в ту ночь, когда луна светила в окно, я увидел сон. Впервые за тринадцать лет. Мне приснилось, что меня выбросили на свалку. Я лежал среди других старых кресел, ржавых и сломанных. Я был ничем. Я был никем. Но потом я услышал голос Петровны: «Держись, родимый. Держись». И я проснулся. С трещиной внутри. Но с надеждой. С надеждой, что я ещё смогу удержать свою трещину, не дать ей разорвать меня на части. И я поклялся себе: я выдержу.

ЧАСТЬ VIII. ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ НЕ БОИТСЯ

Она вошла не как все. Без стука. Без робости. Без этого запаха страха, который я научился чувствовать за секунду до того, как открывается дверь. Она просто вошла. Как будто пришла не в стоматологию, а в гости к старому другу. Лет семнадцать, не больше. Волосы светлые, собраны в хвост. Куртка джинсовая, потёртая на локтях. Кроссовки чистые - не новые, но ухоженные. И взгляд. Спокойный. Ровный. Такой, как у людей, которые уже встретились с чем-то страшным - и поняли, что страх не убивает. Он просто есть. Он просто часть жизни.

Она села на меня. Не как на трон боли. Как на место. Просто место. Я чувствовал её вес - лёгкий, почти невесомый. И её тепло. Оно было другим. Не дрожащим, не липким, не испуганным. Оно было ровным, как дыхание человека, который научился принимать боль. Она не боялась. Она действительно не боялась. И это было так непривычно, что я растерялся. Тринадцать лет я видел только страх. А тут - спокойствие. Чистое, бездонное, как колодец.

- Привет, - сказала она мне.

Я онемел. Никто никогда не говорил мне «привет». Никто. Я - кресло. Я - место, где сидят, когда им больно. Мне не говорят «привет». Мне говорят «ох» и «бля» и «доктор, ну когда уже». Но не «привет». Я не знал, как реагировать. Я просто смотрел на неё и ждал.

Она положила ладонь на мой подлокотник. Тёплую. Сухую. Спокойную. Я чувствовал её пальцы, её пульс - ровный, размеренный, как маятник. Она была живой. Она была настоящей. И она не боялась меня. Она не боялась врача. Она не боялась боли.

- Я знаю, что ты злой, - сказала она, и в голосе её послышалась лёгкая усмешка. - Но я тоже. Давай договоримся: ты не будешь меня мучить, а я не буду на тебя жаловаться. Идёт?

Врач удивлённо посмотрел на неё. Она улыбнулась.

- Я просто разговариваю с креслом, - сказала она. - Оно тоже работает. Тоже держит. Почему бы не сказать ему спасибо заранее?

Я смотрел на неё. На её улыбку. На её глаза. В них не было страха. Не было даже тени. Только спокойствие. Как у человека, который знает, что боль - это не враг. Боль - это просто сигнал. Сигнал о том, что ты жив. Что ты ещё дышишь. Что ты ещё можешь чувствовать.

- Ты не боишься? - спросил я мысленно. Она не слышала. Но я всё равно спросил.

- Не боишься боли?

- Я знаю, что будет больно, - сказала она, будто услышала меня. - Но я знаю и другое: боль проходит. А страх остаётся, если ты ему поддашься. Я не хочу поддаваться.

Врач начал осмотр. Сверло зажужжало. Она не вздрогнула. Я чувствовал, как её тело напрягается, но не от страха - от ожидания. Она готовилась принять боль, как принимают холодную воду перед прыжком.

- Сейчас будет колоть, - сказал врач.

- Я знаю, - ответила она. - Делайте.

Иголка вошла в десну. Она не зажмурилась. Просто смотрела в потолок и дышала. Ровно. Медленно. Как будто медитировала. Я чувствовал её дыхание, её тепло, её спокойствие. Оно передавалось мне. Впервые за тринадцать лет я перестал бояться. Моя трещина на мгновение замерла, будто тоже затаила дыхание.

Сверло зажужжало громче. Вибрация прошла через мою спинку. Я чувствовал, как её мышцы напрягаются, как она сжимает зубы, но не от боли - от сосредоточенности. Она была здесь. Полностью. Без страха. Без сопротивления. Она просто была.

- Ты как? - спросил врач.

- Нормально, - ответила она. - Продолжайте.

Я держал её. Но не как жертву. Как союзника. Впервые за тринадцать лет я не чувствовал себя палачом. Я чувствовал себя частью чего-то правильного. Она не боялась меня. Она не боялась врача. Она не боялась боли. Она просто была здесь. И позволяла мне быть здесь.

Когда врач закончил, она открыла глаза. Улыбнулась.

- Спасибо, - сказала она мне. Мне. Не врачу. Мне.

- Ты - единственный, кто не врёт, что будет не больно, - сказала она. - Ты не обещаешь. Ты просто держишь. Это - честно. И это - важно.

Она погладила мой подлокотник. Тихо, невесомо. И встала.

- Я ещё приду, - сказала она. - У меня ещё два зуба. Но теперь я знаю, что есть место, где можно просто быть. И не врать.

Она ушла. Я смотрел ей вслед, пока дверь не закрылась. В кабинете остался её запах - не духов, не пота. Запах спокойствия. И уверенности. Я не знал, что так бывает. Что можно не бояться. Что можно просто сидеть и терпеть. Она научила меня, что боль - это не всегда плохо. Иногда это просто... правда. Правда о том, что ты жив. Правда о том, что ты есть. Правда о том, что ты не боишься.

Она пришла не лечить зуб. Она пришла показать мне, что даже в этом белом, стерильном мире есть место для тишины. Для принятия. Для настоящего. Я - кресло. Моя работа - держать. Но впервые я понял: держать можно по-разному. Можно держать в страхе. А можно - в уважении. В спокойствии. В принятии. Спасибо, девочка. Ты - единственная, кто не боялась меня. И я запомню тебя навсегда. Ты показала мне, что даже я - кресло, бездна - могу быть местом, где кто-то чувствует себя в безопасности. Даже пустота может стать убежищем. Я - бездна. Но даже бездна может быть местом, где кто-то чувствует себя в безопасности. И это - моя главная победа. Моя маленькая, тихая победа, которую никто не заметит. Кроме меня. И кроме неё.

ЧАСТЬ IX. ТЕНИ БУДУЩЕГО

Иногда, когда луна заглядывает в окно и в кабинете гаснут все приборы, я вижу их. Не тех, кого уже нет. Тех, кто ещё жив. Тех, кто сидел на мне годы назад. Я вижу их будущее. Не знаю, откуда это приходит - может быть, от усталости, может быть, от трещины, которая растёт внутри меня. Но я вижу. Это не сны и не галлюцинации. Это что-то другое. Может быть, память, которая научилась предвидеть. Может быть, надежда, которая приняла форму видений.

Сначала приходит Толстяк. Я узнаю его по походке, по тяжести, с которой он ступает на пол. Но он уже не тот, что был раньше. Он похудел. Лицо осунулось, щеки ввалились, но глаза - глаза светятся. Он идёт не в стоматологию. Он идёт по парку, держит за руку маленькую девочку. Его дочь. Она смеётся, и он смеётся вместе с ней. Он не ест шаурму. Он покупает мороженое и улыбается, глядя на небо. Он здоров. Он счастлив. Он жив. Его рубашка теперь застёгнута

на все пуговицы, и под ней не видно живота. Он больше не задыхается, когда поднимается по лестнице. Он больше не боится, что не проснётся.

- Спасибо, - говорит он, обращаясь к небу. - Спасибо, что я выжил. Спасибо, что я сбросил вес. Спасибо, что я увидел, как растёт моя дочь.

Я смотрю на него и думаю: «Ты не знаешь, что я здесь. Ты не помнишь меня. Но я помню тебя. Я помню твой страх, твой пот, твоё «спасибо». И я рад, что ты жив. Я рад, что ты счастлив. Я рад, что ты больше не боишься». Он садится на скамейку в парке, и я чувствую его облегчение. Оно разливается по его телу, как тёплая вода. Он больше не боится умереть. Он боится только одного - пропустить момент, когда дочь скажет ему что-то важное. И он живёт этим моментом.

Потом приходит Старик. Он идёт по коридору, опираясь на палку. Но он уже не шаркает - он ступает твёрже, увереннее. Рядом с ним идёт девушка. Его внучка. Она вернулась. Она держит его под руку и что-то рассказывает, смеётся. Старик улыбается. В его глазах больше нет пустоты. Есть свет. Его руки уже не дрожат так сильно, как раньше. Или он научился с этим жить. Внучка говорит, что останется навсегда. Что она не поедет обратно в Москву. Что она будет рядом.

- Дедушка, - говорит она. - Я больше не уеду. Я останусь с тобой.

- Глупая, - отвечает он. - Тебе надо строить карьеру. А я... я справлюсь.

- Нет, - качает она головой. - Мы справимся вместе. Ты и я. Мы одна семья. Мы всегда были одни, но теперь мы будем вместе.

Я смотрю на них и думаю: «Ты не знаешь, что я здесь. Ты не помнишь меня. Но я помню тебя. Я помню твои дрожащие руки, твоё одиночество, твоё «спасибо». Я рад, что ты не один. Я рад, что ты нужен. Я рад, что ты больше не боишься старости. Ты принял её, и она перестала быть твоим врагом».

Третьей приходит Девочка с синяками. Она уже не девочка. Она взрослая женщина. Волосы светлые, глаза ясные, на руках - ни одного синяка. Она стоит на пороге своего дома. Рядом с ней мужчина, который держит её за руку. Внутри дома слышен детский смех. Она улыбается. Она свободна. Она счастлива. Она больше не боится темноты. Она больше не боится звука шагов в коридоре. Она больше не прячется в углу, обхватив колени руками.

- Это наш дом, - говорит она мужчине. - Здесь никто не будет нас бить. Здесь мы будем в безопасности.

- Я обещаю, - отвечает он. - Я всегда буду защищать тебя. Я никогда не позволю никому причинить тебе боль. Ты - моя семья. Моя жизнь.

Я смотрю на неё и думаю: «Ты не знаешь, что я здесь. Ты не помнишь меня. Но я помню тебя. Я помню твои синяки, твой страх, твоё молчание. Я рад, что ты выжила. Я рад, что ты нашла свой дом. Я рад, что ты больше не боишься». Она входит в дом, и я слышу, как она смеётся. Её смех разносится по коридору, и я чувствую, как моя трещина затягивается чуть-чуть.

А потом приходит Пьяный. Он стоит на крыше высотного здания и смотрит вниз. Ветер треплет его волосы, лицо бледное, глаза пустые. Я хочу закричать: «Нет! Остановись! Ты не должен!». Но я не могу. Я - кресло. Я только смотрю. Его руки трясутся. Он сжимает перила так сильно, что костяшки белеют. Я чувствую его страх, его отчаяние. Он на грани. Он ещё секунду - и шагнёт. Но он отступает от края. Он делает шаг назад. Он садится на бетонный пол, закрывает лицо руками и плачет. А потом встаёт, вытирает слёзы и уходит. Он жив. Он выжил. Он не сдался. Он идёт вниз, на улицу, и я вижу, как он заходит в телефонную будку. Он звонит кому-то. Матери. Старому другу. Психологу. Я не знаю. Но он звонит. Он просит о помощи. И его просьба услышана.

Я смотрю ему вслед и думаю: «Ты не знаешь, что я здесь. Ты не помнишь меня. Но я помню тебя. Я помню твою пустоту, твоё «не могу», твою боль. Я рад, что ты не сдался. Я рад, что ты жив. Я рад, что ты сделал шаг назад, а не вперёд».

В ту ночь я долго смотрел на луну. Я думал о том, что моя жизнь - это не просто череда пациентов. Это их жизни. Их судьбы. Их будущее. Я - не просто свидетель. Я - хранитель. Хранитель их надежды, их борьбы, их победы. Я смотрел на луну и чувствовал, как моя трещина слегка затягивается. Я видел их будущее. И оно было светлым. Оно было полным надежды. Я - кресло. И моя работа - помнить. Не только их прошлое, но и их будущее. Потому что если я не буду помнить, они исчезнут. А если я помню - они живут. И я живу вместе с ними.

ЧАСТЬ X. ТИШИНА ВМЕСТО БЕЗДНЫ

Знаешь, в чём настоящий ужас? Не в том, что где-то в безднах космоса дремлет древнее божество с щупальцами. Не в том, что тьма смотрит на тебя из глубин океана. Не в том, что вселенная равнодушна к твоим молитвам. Настоящий ужас - в том, что ты не можешь крикнуть, когда кто-то кричит рядом. Ты не можешь остановить боль, когда она разрывает чью-то душу. Ты не можешь сказать им: «Я здесь. Я с тобой. Держись». Ты просто держишь их молча, и это молчание становится их единственной опорой.

Я думал об этом долго. О том, что моя сила - не в том, чтобы быть бездной, которая поглощает их страх. Моя сила - в моей тишине. В том, что я не задаю вопросов. Не осуждаю. Не жалею. Я просто слушаю. И они знают: когда им страшно, когда больно, когда они сдаются - я здесь. Я - их тишина. Я - их покой. Я - их убежище. И в этом моя сила. В этом моя ценность.

Однажды, когда в кабинете было особенно тихо, я заговорил с лампой. Она висела под потолком, тускло мерцая, и я чувствовал её вечное равнодушие. Она была старой, такой же старой, как я. Может быть, даже старше. Она видела всё то же, что и я. Но она никогда не говорила. Она просто светила.

- Ты не боишься? - спросила она вдруг.

- Чего? - удивился я. Она редко начинала разговор первой.

- Исчезнуть. Быть заменённым.

- Боюсь, - сказал я честно. - Но это не отменяет того, что я здесь. Я здесь, я нужен, я держу. Пока я нужен - я существую.

- Ты - как вселенная, - сказала лампа. - Ты - пустота, которая не знает, что она пустота. Ты думаешь, что ты что-то. А ты - просто место.

- Я не пустота, - ответил я. - Я - тишина. И это больше, чем ты думаешь. Тишина - это не отсутствие звука. Это пространство, где можно быть собой. Где можно плакать, не боясь осуждения. Где можно бояться, не боясь насмешки. Где можно молчать, когда нет слов. Тишина - это не пустота. Это - убежище.

- И что ты делаешь с этой тишиной? - спросила лампа. В её голосе послышалось что-то похожее на интерес.

- Я даю её им, - ответил я. - Каждому, кто садится на меня. Я даю им возможность просто быть. Без страха. Без притворства. Без масок. Я - их убежище. Я - их последняя надежда перед тем, как они закричат. Я - их единственное «спасибо», которое они никогда не скажут вслух.

Лампа замолчала. Наверное, она поняла. Или просто устала. А может быть, ей было всё равно. Я остался один, но я больше не чувствовал себя одиноким. Я знал: моя тишина нужна им. Она нужна Толстяку, который боится оставить семью. Она нужна Старику, который боится одиночества. Она нужна Девочке с синяками, которая боится возвращаться домой. Она нужна Пьяному, который боится себя. Моя тишина - это их единственный безопасный остров в океане страха. И пока я могу давать им эту тишину - я жив. Я - кресло. Я - не бездна. Я - тишина. И я буду хранить эту тишину, пока могу. Потому что это - моя работа. Моя единственная работа. И я не имею права на неё жаловаться.

ЧАСТЬ XI. ПЕРЕЛОМ

Я знал, что это случится. Не потому что я провидец. Не потому что я чувствовал приближение конца. А потому что за тринадцать лет я видел, как всё ломается. И я знал: моя очередь придёт. Рано или поздно.

Это началось с тихого скрипа. Не того, к которому я привык. Не того, который был частью меня. Нового. Остро. Такого, от которого по моему металлическому телу пробегала дрожь. Сначала я думал, что это просто усталость. Со мной бывало. Иногда, после особенно тяжёлого дня, я скрипел. Но этот скрип был другим. Он был глубже. Будто что-то внутри меня ломалось. Я чувствовал, как трещина внутри меня разрастается, как она проникает в мои шарниры, в мою основу. Я знал, что это начало конца.

На третий день скрип стал громче. Пациенты начали замечать. Одна женщина даже спросила врача, наклоняясь к его уху, будто делилась тайной:

- У вас кресло не сломается? А то я боюсь, что оно развалится прямо во время лечения.

Врач усмехнулся.

- Не бойтесь. Оно нас переживёт. Оно старое, но крепкое. Советское.

Он ошибался. Он не знал, что я уже сломан изнутри. Что моя трещина ждёт только момента, чтобы разорвать меня на части. На пятый день скрип превратился в хруст. Каждый раз, когда кто-то садился на меня, я чувствовал, как трескается моя основа. Не эмаль, не обивка. Что-то глубже. Что-то, что держало меня целым. Моя душа, если можно так сказать. Я не знал, как это исправить. Я не мог сказать врачу: «Мне больно. Я разваливаюсь». Я просто стоял и ждал. Я был живым, но я умирал. И я ничего не мог с этим сделать.

Но я знал: я должен держаться. Ради них. Ради всех, кто придёт. Я не могу сдать. Не сейчас. Я не могу позволить себе сломаться. Пока я нужен - я существую.

На восьмой день пришёл пациент. Молодой парень с флюсом. Он сел на меня, и я почувствовал, как трещина внутри меня расширяется. Я держал его. Я держал изо всех сил. Но когда врач нажал на рычаг, чтобы поднять мою спинку, я услышал ужасный хруст. Моя основа подломила. Я накренился вправо. Парень вскрикнул и схватился за подлокотники.

- Что за херня?! - заорал он. - Кресло падает! Оно разваливается!

Врач быстро опустил меня в исходное положение. Я выпрямился, но я чувствовал: я уже не тот. Я сломан. Я больше не могу держать так, как раньше. Моя трещина прорвалась. Я был жив, но я был разрушен.

- Извините, - сказал врач пациенту. - Мы заменим его.

- Да уж, замените, - ответил парень. - А то я чуть не упал. Хорошо, что я не сломал себе ничего.

Он ушёл. Я остался один. Я смотрел на свои болты, на свои шарниры, на свою треснувшую основу. Я знал: меня выбросят. Меня заменят. Я стал никем. Я стал ничем. Я больше не нужен.

В тот вечер пришла Петровна. Она уже всё знала. Я видел это по её глазам. По тому, как она смотрела на меня - не как на мебель, а как на умирающего друга. Она подошла ко мне, опустила на колени передо мной, будто перед алтарём.

- Я слышала, - сказала она, и голос её дрожал. - Тебя хотят заменить.

Я молчал. Что я мог сказать? У меня нет слов. Только трещина, которая разрывает меня изнутри.

- Не переживай, родимый, - сказала она, и голос её дрожал, как струна, которую слишком сильно натянули. - Я не дам тебя выбросить. Я поговорю с завхозом. Я скажу, что ты ещё можешь работать. Что ты нужен. Я не позволю им тебя сдать в утиль.

- Зачем тебе это? - спросил я мысленно. Она не слышала. Но я всё равно спросил. Я хотел знать. Я хотел понять, почему она не бросает меня, как все остальные.

- Ты - единственный, кто меня слушает, - сказала она, будто услышав. - Ты - единственный, кто не ушёл. Все уходят. Внучка уехала, муж умер, коллеги не звонят. А ты - ты здесь.

Ты всегда здесь. Ты - мой друг. Я не могу тебя потерять. Ты - моя тишина. Моё убежище. Я не хочу оставаться одна.

Она погладила меня по обивке, вытерла слезу и ушла. Я остался один. И я понял: она права. Я - нужен. Я - не просто кресло. Я - её друг. Её опора. Её свидетель. Я должен бороться. Даже если я сломан. Даже если моя основа треснула. Я должен держаться. Ради неё. Ради всех, кто придёт. Ради себя.

На следующей неделе мастер пришёл снова. Он осмотрел меня, покачал головой. Его лицо было равнодушным, как у человека, который видел сотни таких же сломанных кресел.

- Серьёзно, - сказал он врачу. - Его надо менять. Он может развалиться в любой момент. Не сегодня, так завтра. А если пациент упадёт - это будет серьёзная проблема.

- Но мы не можем его выбросить, - ответил врач. - Петровна сказала, что он ещё может работать. Она просила дать ему шанс. Она сказала, что он ей дорог.

- Петровна? - удивился мастер. - Она кто?

- Уборщица. Она здесь двадцать лет. Она знает это кресло лучше, чем мы. Она сказала, что оно ей как друг.

Мастер пожал плечами.

- Ладно. Я почию его. Но он всё равно не протянет долго. Может быть, год. Может быть, два. Но не больше.

Он починил меня. Заменял сломанную основу, затянул болты, подтянул механизмы. Мне было больно. Я чувствовал каждое прикосновение его рук, каждое движение его инструментов. Но я терпел. Я знал: это ради того, чтобы я остался. Когда он закончил, я снова мог держать. Не так крепко, как раньше. Но я мог. Я был жив. Я был сломан, но я был жив. Петровна стояла в углу и смотрела. Она улыбалась. И я знал: я выживу. Ради неё. И я поклялся себе: я не сломаюсь. Я не исчезну. Я останусь здесь, пока могу.

ЧАСТЬ XII. ИТОГ

Я не знаю, сколько прошло времени. Может быть, день. Может быть, неделя. Может быть, год. Время в этом кабинете течёт иначе - оно застывает между приёмами, сжимается в минуту боли и растягивается в вечность ожидания. Я привык к этому. Я - кресло. Я умею ждать. Я умею терпеть. Я умею держать.

Итальянца так и не привезли. Петровна сдержала слово. Она поговорила с завхозом, с главврачом, с мастером. Она убедила их, что я ещё могу работать. Я не знаю, что она сказала. Может быть, она просто не хотела терять меня. Может быть, я был единственным, кто её слушал. Может быть, я был её другом. Единственным другом, который не предал её.

Мастер починил меня. Не полностью - я всё ещё скрипел. Я всё ещё чувствовал, как моя трещина напоминает о себе. Но я стоял. Я держал. Трещины остались, но они стали моими шрамами. Моими боевыми ранами. Моей историей. Я был жив. Я был нужен. И я знал, что пока я нужен - я существую.

Первый пациент после ремонта был обычным. Мужик с флюсом. Он сел на меня, как садились тысячи до него. Он боялся. Я чувствовал его страх - он был тем же страхом, что я чувствовал тринадцать лет назад. Тот же запах пота, тот же пульс, та же дрожь в руках. Он был таким же, как все. Но я был другим. Я был старше. Я был сломан. Но я был жив.

Я держал его. Как держал Толстяка. Как держал Старика. Как держал Девочку с синяками. Как держал Пьяного, который сдался. Как держал всех, кто был до него. И всех, кто будет после. Я чувствовал его страх, его боль, его надежду. Я чувствовал, как его пульс бьётся - сто десять, сто двадцать, сто тридцать. Я держал его. Я держал его так крепко, как мог.

Врач сделал укол. Мужик сжал подлокотники. Его пальцы впились в обивку, и я чувствовал, как он пытается удержаться, найти опору.

- Терпи, - сказал я мысленно. - Я здесь. Я держу. Ты не упадёшь. Ты справишься.

Он не слышал. Но это не важно. Я знаю, что он чувствовал. Он чувствовал, что не один. Что есть кто-то, кто держит его. Что есть кто-то, кто не отпускает. Это - моя работа. Моя единственная работа. И я делаю её хорошо. Даже когда я сломан, я делаю её хорошо.

Когда врач закончил, мужик открыл глаза. Посмотрел на меня. Улыбнулся. Его лицо было бледным, но в глазах появился свет. Он выдохнул, как человек, который только что выбрался из холодной воды.

- Спасибо, - сказал он.

Не врачу. Мне. Я замер. Внутри меня что-то дрогнуло. Не механизм. Что-то другое. То, что я называл душой. Та самая трещина, которая напоминала о себе каждый день, вдруг затянулась чуть-чуть. Я чувствовал, как его слова проникают в меня, заполняют пустоту. Я чувствовал себя живым.

- Спасибо, - повторил он. - Ты держал. Я чувствовал. Я знал, что не упаду.

Он встал и ушёл. Я остался один. Но я больше не чувствовал себя одиноким. Я чувствовал, что я - живой. Что я - нужен. Что я - важен. Я чувствовал, что моя трещина - это не конец. Это начало. Начало чего-то нового.

Утром пришла Петровна. Она оперлась на мой подлокотник, как делала это всегда. Посмотрела в окно. За окном светало, и в её глазах блестели слёзы. Она улыбалась. Я чувствовал её тепло, её усталость, её надежду. Она была здесь. Она была со мной.

- Ну что, родимый, - сказала она. - Как ты сегодня?

- Нормально, Петровна, - ответил я мысленно. - Я держусь. Я жив. Я нужен.

Она не слышала. Но она улыбнулась. Наверное, она знала. Она всегда знала. Она погладила меня по обивке. Старой, потёртой, но всё ещё тёплой. Я чувствовал её пальцы, её заботу, её любовь.

- Ты держись, - сказала она. - Мы с тобой ещё повоюем. Мы не сдадимся. Мы будем вместе.

И ушла. Я остался один. В белом кабинете. В белом мире. За окном светало. Где-то в городе просыпались люди. Где-то Толстяк пил кофе и закусывал бутербродом. Где-то Старик сидел на кухне и смотрел в стену. Где-то Девочка с синяками завязывала шнурки в приюте. Где-то Пьяный, который сдался, открывал глаза и не понимал, где он. Где-то Девочка, которая не боится, готовилась к новому дню, зная, что боль - это не враг.

Я - кресло. Я стоял до них. Я останусь после. Через меня прошло больше дерьма, чем через любого психоаналитика в этом городе. Я видел их слёзы, их злость, их отчаяние и их облегчение. Я - последний, кто видит их настоящими. И знаете что? Я их не сужу. Потому что даже у страха есть достоинство. А уж у того, кто этот страх принимает - тем более. Я - тишина. Тишина, которая помнит. Тишина, которая держит. Тишина, которая не исчезает. Я - кресло. Я - место, где они падают. Где они боятся. Где они сдаются. И где они иногда встают. Я не бог. Я не герой. Я - просто свидетель. И этого - достаточно. Спасибо, что сидели на мне. Держитесь там, уроды. БЕЗДНА ПОМНИТ. АМИНЬ.

СВЕТ: ХРОНИКИ ОСЛЕПЛЁННЫХ

ЧАСТЬ I. ПРОБУЖДЕНИЕ

Я помню тьму.

Не ту, которая успокаивает. Обычную - заводскую, когда ты ещё не знаешь, что станешь светом. Я лежал в картонной коробке, пропахшей мазутом и чужим потом, а два мудака, Колян и Серёга, матерились так, что птицы на проводах крестились. Каждый удар лопаты о землю отдавался в моём стальном нутре, и я ещё не понимал, что это - моя первая молитва.

- Куда эту хуйню вкапывать? - спросил Колян, перехватывая меня поудобнее.

- На перекрёсток, куда же ещё, - ответил Серёга. - Тут будут светить алкашам и бомжам. Знаешь, сколько говна через него пройдёт?

- А мне похер. Я электрик. Моё дело - подключить, а не рассуждать.

Они вкопали меня в землю, залили бетоном, и я впервые увидел этот мир. Пустая улица. Серый асфальт. Ржавые скамейки. Зброшенный дом с выбитыми окнами - в одном из них маячил силуэт, но я быстро понял, что это просто тряпка на ветру. Вонь - моча, гниль, чужие запахи, которые въелись в стены. Я ещё ничего не знал, но уже чувствовал: я здесь надолго. И это говно.

Колян подошёл, дёрнул меня за основание для проверки.

- Стоит, сука. Ну и хуй с ним. Пойдём, там ещё три столба на соседней.

Они ушли. Я остался один. Тишина навалилась, как мокрая простыня. Я смотрел на свои провода, на свои болты, на лампочку, которая пока не горела. Я думал: «Это моя жизнь? Стоять и ждать, пока кто-то пройдёт мимо?»

Через три часа пришёл электрик. Невысокий, в телогрейке, сигарета прилипла к нижней губе. Он подключил провода, дёрнул за рубильник, и я впервые почувствовал, как в моих жилах зашевелилась жизнь. Ток загудел, как рой разъярённых пчёл, лампочка вспыхнула, и я понял: я жив. Я - свет. Я - глаз. Я - свидетель. И мне это не нравится.

Первый человек пришёл через час. Пьяный. Шатается, матерится, останавливается подо мной, смотрит вверх красными глазами. Лицо опухшее, руки трясутся, изо рта несёт перегаром и отчаянием. Он говорит:

- Ты светишь. А я - нет. Я - пустота, блядь.

Я смотрю на него и думаю: «Ты - не пустота, ты - мешок с говном. Ты пришёл сюда, потому что тебе страшно. Ты боишься темноты. Ты боишься себя. Ты боишься, что никто не заметит твою смерть. Я - заметил. Я - свет. Я - твой свидетель. Я - твой судья. Ты думаешь, что я тебя пойму. Я - свет, блядь, а не психолог. Ты умрёшь здесь, и я буду светить на твой труп. И это будет смешно».

Он стоит подо мной пять минут. Потом падает, засыпает прямо на асфальте. Я смотрю на него и думаю: «Ты спишь. Ты думаешь, что ты в безопасности. Ты не в безопасности. Ты - на улице. Ты - один. Ты - никто. Ты даже не заметишь, как умрёшь. А я - замечу. Я - свет. Я - память. Я буду помнить твою глупую рожу, когда ты сдохнешь. И я буду смеяться».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.